

Иван Лукаш

# Судьба императора



# Иван Созонтович Лукаш

## Судьба императора

*Текст предоставлен правообладателем.  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=2453495](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2453495)*

### Аннотация

«...И в подушку лицом лег. И все понял и вспомнил... Молодые солдатики белобрысые, пехота его в кожаных киверах и в серых балахонах, на суконных погонах вензеля «N» и черныя цифры 36, 39, 108, 304... Артиллерийские парки в снегах колесами черными колыхают. Свищут равнины. Конь его белый, конь его снежный и под копытами мякоть скользит, трупы остылые.

Генералитет головы пред ним обнажил. На тугих воротниках позументы, парча и мундиры парадные, как будто нафталином припахивают. От запаха нафталина он носом повел, голову поднял, а над головой – знамена, пики, орлы и сияют светлым снегом горныя вершины...»

# Содержание

I.	4
II.	8
III.	11
IV.	17

# Иван Лукаш

## Судьба императора

*Судьба играет человеком*

*Она изменчива всегда...*

*Песня о Наполеоне.*

### I.

Бакенбарды Его Превосходительства – котлеты рубленые, коричневые и присыпаны седым перцем.

Голова на бок не вся, но со лба. Нянька в детстве повернула. Нос в одну сторону – нос мясистый, в жилках, – гроздевидное нечто, лиловатое, виноградное, – а лоб в другую. А может акушерския щипцы, при рождении наложенныя, оставили неизгладимый след свой на челе Его Превосходительства.

Чиновники, и даже курьеры, прозвали Его Превосходительство – Первернухой. За кривую голову, всего вероятнее...

Вообще непонятно, какие головы бывают у людей – внешности, так сказать, или личности.

Экзекутор Агафангелов – действительно фамилия! – чешет на лысину волосы прилизанным коровьим языком. Шишки имеет над бровями, подобно двум кулакам, а лицо

безбородое – безлесое лицо, голый волдырь, или, чтобы красивее – степь безкрайнюю, серую. А глазками мигает – левым, правым – очень часто, – которым не уследить. И часто почихивает, поднося ладонь ручкой к носу и прячется из вежливости, за конторку...

Экзекутор Агафангелов в зеркало любит смотреться, что в прихожей, внизу над ларем швейцара Казимира. Зеркало свинцовое, старинное, в раме квадратной. Прибито гвоздиком в 1843 году, то есть, семьдесят лет назад, при императоре Николае Павловиче, в Бозе почивающем.

Казимир с того времени швейцар, по счету седьмой. Швейцары всех долголетнее в Департаменте и может Казимир представляется, что он новый, восьмой, считая от дня прибития гвоздика. Сидит и сидит, а кто сидит – неизвестно... Костлявая, морщинистая руки, хладная длани тянутся, трясясь, из темноты, стягивают деревянные калоши Его Превосходительства, шинелишки и пальтишки чиновников. А кто в темноте – не видать. Может швейцар, а может одна туманность и костлявая рука.

Экзекутор Агафангелов любит оправлять перед зеркалом галстух, плетенку пеструю.

– Темно тут, братец, у нас, ни черта не видать!

– Кого-с? Точно так: ни черта.

– И как же ты, братец, на императорской, коронной, можно сказать, службе, а поляк?

– Кого-с? Так точно – поляк...

Так вот, у этого эскутера лик, как голый волдырь или серая степь, но дуги надгробные, подобны Сократовым.

А столоначальник Изумрудов, хотя и носит фамилию драгоценную, но походит на утку ощипанную. И бородка у него есть и булавка в галстухе с камушком, а все же – утка.

И еще столоначальник Смышленов, тяжелый человек, от подмышек ладаном пахнет и кислицей, когда ходит, половицы скрипят – подгибаются – «пожалейте нас, родненькие мои» – так тот лицо имеет багровое и заплывшее. В точь – дикий кабан.

А курьер Павлюк, седой, чинный, бакенбарды серебряные, в талии стройный, в движениях торжественный – напоминает видом своим Александра II Освободителя, на канавке Екатерининской убиенного.

Копиист же Ванюшин, отрок бледный, неслышный, с ячменем на веке левом – если бы не ячмень, походил бы и русым волосом своим и тонким ликом с ресницами трепетными – на младого святого, именем незнатного, про которых в святцах пишется: «и мнозим иже с ним, убиенные и муки в страстях восприявшие...».

А Андрей Сорочкин, коллежский регистратор, не только сам по себе такое о лицах человеческих думает, но и в газетах читал, что вот в берлинском будто Зоологическом саду поставлены фигуры как бы человечьи, а ежели приглядеться – один явный осел и другой – сова, а третий – свинья обыкновенная...

Сидит Андрей Сорочкин за шкапом – темным, огромным, где Своды Законов, синия полки и на нижней полке разбитая, пыльная чернильница, газеты прожелтелая, читанная давно Его Превосходительством Перевернухой.

Сидит, из за шкапа присутствие наблюдает: как пишут согнувшись, как курьер Павлюк с чаем проходит – царь стройный, серебряный, в бакенбардах.

Сорочкину дело – бумаги сшивать шнуром государственным, перевитым в три цвета: желтый, черный и белый. Он сшивает и думает:

Вот о подобии лик человеческих ликам звериным. И еще о бородах. Почему бороды растут, как трава. А что если бы у всех, да были бы бороды зеленая, да чтоб лохматыя. Вышел на улицу, что в зеленое, буйное поле. А может и сами-то люди – как трава, покуда не скошены.

## II.

Всякия люди на всякия дороги выходят, а дорога Сорочкина зашла в темный угол, за шкаф, в правительственное место. Когда покойный его батюшка, архивариус Синода Святейшаго, тоже Андрей и тоже Сорочкин, в чине надворнаго советника скончался – Андрюша уже в пятый класс гимназии классической бегал.

Мечтал его батюшка, архивариус, – жить бы Андрюшке образованным и университеты окончить и в генералы статские выйти. Да мечтания надворнаго советника прервала, как говорится – смерть...

Андрюша-то в гимназию лет пятнадцать назад бегал, а все помнит какие там светлые классы, храмы холодные, и что трезвонил звонок, а на уроках словесности Капитон Тихоноч – царствие ему небесное, от сгоревшаго легкаго помер, – голосом кротчайшим и трепетным читал стихи Пушкина.

За пятнадцать лет живот округлился, ляжки поплотнели и ножки короткия до пола со стула не достают. По причине округления живота, пуговка на жилете отстегнута. А может – оборвалась: пришить некому. Матушки нет, жены нет... Матушка умерла, когда он себе ножку в зыбке сосал. И какая была матушка – он не помнил, но будто вроде облака темнаго и выше темнаго шкафа, а сама в зыбком чепце и говорит по французски.

Почему по французски – ему неизвестно, но обязательно так. Сидит Сорочкин за шкапом, всякий вздор в голову лезет. Если бы лошадей в карете государя, когда понесли, на всем скаку задержать, на дышле повиснуть. А государь бы, в благодарность, в супруги любую великую княжну на выбор и генерал-губернатором в Самарканд...

А то проект выдумать – скажем хлеб на воздухе сеять, или чтобы фальшивые деньги государственная экспедиция печатала, а все бы думали, что настоящие и его за это в министры.

Тогда бы он на Нине Ивановне женился.

Как в отхожее место ходить, в этаже оно в самом верхнем, есть пониже площадка, а на ней дверь в комнатку светлую. А в комнате солнце, и Нина Ивановна, и пишущая машинка. Комнатка, как светлое небо.

Оне, Нина Ивановна, в пенснэ, образованная. Старшая их сестрица надзирательницей в институте, а папаша был в чине полковника.

Оне, Нина Ивановна, в кофточке белой. А как головой поведут, пенснэ со шнурочка долой – и чик и погасло. Близорукия. А волосы – золото, солнце ли, дым...

Про Нину Ивановну – аминь. С ними все образованные: помощники столоначальников. А он только на пороге поклонится и побегут-затопчут в груди, точно бы ноги, и дыханье захватит.

Экзекутор Агафангелов приказал раз бумаги наверх отнести, на машинке переписать. Он на пороге запнулся, персты

задрожали и так дышет – даже нахмурился.

А Нина Ивановна оглянулась, пенснэ – не заблистало. Аминь.

– Я бумаги...

– Давайте... И что вы хмурый такой: прямо мрачный Наполеон.

Про Нину Ивановну – аминь. Наверху оне, на небе, и среди образованных. А ему по штату, на текущий 1912 год жалованья положено 35 целковых в месяц да квартирных – 15. И все. Коллежскому регистратору по штату жениться не полагается...

Над ларем, в темноте, когда дряхлыя длани пальтишко на-таскивали, погляделся Андрей Сорочкин в тусклый свинец, в старинное зеркало и выпятил нижнюю губу.

– Мрачный Наполеон? Хм... А почему Наполеон – неизвестно.

### III.

Когда за шкаф никто не заглядывал, когда на задней стенке его развесил дырявую, серую замшу паук – кому какое дело, кто за шкапом сидит.

Коллежский регистратор и коллежский регистратор: тот, что бумаги сшивает. А может, кто другой: в темноте не видать... Наполеон, Нина Ивановна сказали Наполеон, а было их два – один бритый в черной треуголке и сером сюртуке, а другой с острой бородкой и красныя брюки винтом, а назывался Наполеон III.

Про Наполеона у копииста Ванюшина можно узнать.

Когда жалованье экзекутор раздает, Сорчкин Ванюшину глазом знак делает: моргает.

– Да я, Андрей Андреевич...

– Да, порйдемте, Ваничка...

Пьют вместе, когда жалованье экзекутор раздает кредитками по пять рублей и по десять.

Ванюшин, отрок неслышный, без чина, оказывает Сорочкину уважение: всегда его по имени-отчеству и всегда с ним пьет: только отнекивается сначала, морщится, кашляет: молод еще.

А когда выпито – злеет. Бледен лик, дрожь на ресницах и тонкия губы улыбкой шевелятся, а в улыбке светлая злость.

– Вот и выпито, Андрей Андреевич, а зачем?

– Пей. Не зачем. Все равно.

– Нет, а зачем?

У Ванюшина, когда выпито, – все вопросы: чиновники зачем и кокарды, и зачем образованные, что дипломы имеют, за одно с ними стулья трут? И кому это надо, и зачем самый человек живет? И все зачем и к чему?

– Молчал бы ты, Ваничка...

– Я что же... Я помолчу... Одно слово – чиновники... Россия, так сказать, есть держава, а мы в ней чиновники... А может ничего нет, и нам только кажется и я всю эту Россию под пальцем могу раздавить... Держава...

Так вот этот самый Ванюшин принес Сорочкину книжку о Наполеоне, господина Павленкова издание, история жизни. И портрет приложен: сюртук серый, жилет белый и волосы на лбу косо прилизаны, как бы серп или темная запятая.

За шкаф никто не заглядывает и Сорочкин, под казенными бумагами, тайком книгу читал. И подумал еще: «и у меня волосы на лбу – запятой». И все вспомнил: Капитон Тихонич, что от сгоревшаго легкаго помер, – про Наполеона рассказывал...

Вспомнил все слова, какия Наполеон говорил, и страны, где воевал, и про солдат его, про гвардию в мохнатых шапках, про Березину – все вспомнил Сорочкин.

Иена, Аустерлиц, как на мост со знаменем шел, сто дней, как гренадеры на груди его плакали и про Аррагоны. Причем Аррагоны, и где такие – он уже позабыл, но от них светло и

огромно. Такое слово – как великолепная музыка.

– Аррагоны...

Во вторник жалованье роздали, а до четверга болела голова. Во вторник, ночью, в гавань, по снегу, обнявшись, с Ваничкой Ванюшиным шли. Все фуражки друг другу поправляли, чтобы кокарды – прямо. И поцеловались. А у Ванички губы холодные, как бы в тонком льду.

Серый снег в искрах, в иголочках зеленых. От игранья зеленых иголочек – тоска.

Снег метет, снег хрустит, тени от домов – черная катафалка, с Невы, из черной прорвы, холод дует – свищет. Брови обмерзли...

– Ваничка – Аррагоны!

Обнявшись по сугробам прыгали. Сорочкин все о себе говорил, Ваничку за холодный рукав хватая.

– Нина Ивановна, вот, все ей сердце до доньшка – дверь раскрыта: войди, засвети огонь, – на... А никогда не узнает.

И тут же подпись: два крючочка с жизни. Аминь... В девичестве без меня захиреет, высохнет... А я не смею слова сказать. Она образованная, в пенснэ, мы – мрачные Наполеоны... Судьба играет человеком... Темна, Ваничка, наша судьба: у нея, у меня, у всех...

А Ваничка по снегу прыгает. Светит лик беленький, обмерзлый светом злым. И хихикает:

– Судьба, Андрей Андреевич... Одно слово – чиновники. Сорочкину холодом дунуло на лоб. Клок волос завился.

– Стой! А Наполеон какую судьбу имел? Был офицеришка попрыгун, а стал императором.

И палец поднял:

– Императором, а!.. Аррагоны.

А в четверг, с Ваничкой Ванюшиным, в трактире «Париж» на Среднем проспекте о вращении вселенной заспорили. По Ваничкину выходило, что когда земля вертится и все, значит, вертится, и жить не стоит: одно кружение, все, как карусели в Петровском парке: – родился – помер, помер – родился, а к чему – никому непонятно.

Андрей же Андреич говорил, что все понятно: ежели вертится, значит каждый всякия судьбы испытывает: был, скажем блохой, а довертится до птицы. А то графом кто был, или министром, а свернет на младшаго дворника – и прочее. В этом весь интерес и есть...

Трактирный оркестрион бряцал смело и мутно песню о Наполеоне:

Горит-шумит пожар московский...

– Слышишь ты: стоял он в сюртуке – Сорочкин говорил. – А может, это я, самый, стоял, – хотя вот и коллежский регистратор... А ты вот без чина и вопросы разные у тебя, а – кто тебя знает – может ты Борисом и Глебом был, отроки – сорок мучеников... А нас – во куда завертело! Понял?

Половой их спор слушал. И еще какие-то лики потные,

словно лошади или вепри. Смеялись и не понял никто. Сорочкин про матушку хотел еще рассказать, да подумал, что про матушкину французскую речь – его вымысел. И спутались его мысли и сам не знает, что говорить. А половой, который спор слушал, сказал:

– Это точно: когда выпивши – вертится...

Он про судьбу, что судьба темная, что всякий все судьбы испытать должен, они про вино. Пылает вино...

На койку дома пал. Койка железная, больничная, по случаю купленная – заскрежетала, завывала.

За окном лунный мрак. Снега, гаваньские пустоты, а он будто в окно посмотрел и из лунного мрака на него лицо полное, бледное смотрит: губы поджаты, на лбу серп волос. Сам на себя смотрит: император Наполеон Бонапарт.

И все Сорочкину стало понятно... Был императором, а ныне – коллежский регистратор... Может и Нина Ивановна на самом деле Мария-Луиза императрица французов...

И в подушку лицом лег. И все понял и вспомнил... Молодые солдатики белобрысые, пехота его в кожаных киверах и в серых балахонах, на суконных погонах вензеля «N» и черныя цифры 36, 39, 108, 304... Артиллерийские парки в снегах колесами черными колыхают. Свищут равнины. Конь его белый, конь его снежный и под копытами мякоть скользит, трупы остывшие.

Генералитет головы пред ним обнажил. На тугих воротниках позументы, парча и мундиры парадные, как будто наф-

талином припахивают. От запаха нафталина он носом повел, голову поднял, а над головой – знамена, пики, орлы и сияют светлым снегом горные вершины – Аррагоны...

Все судьбы прошел. Выше всех был, победителем стран и народов. Завоеватель и Цезарь... А его за шкаф сунули, бумаги сшивать шнуром государственным, и на всю зашкапную, темную жизнь пожаловали его, императора Бонапарта, чином коллежского регистратора... Игра судьбы. Аминь

На том и заснул.

## IV.

Сидит Андрей Сорочкин за шкапом и какие вымыслы пьяные в голове его дымят, никому-то неважно. Сидит и сидит. Бумаги сшивает. Так бы и просидел и в больничном гробе, сосновом, дырки в щелистых досках, как затычки от пробок, – отвезли бы его, под желтым покровом, на Смоленское кладбище и тот же Ваничка Ванюшин, отрок неслышный за похоронной клячей до шестого бы разряда шел...

Но в пятницу дернуло что-то экзекутора Агафангелова дать Сорочкину бумагу с надписью самого господина министра... Бумага на машинке переписана, а сбоку карандашиком министра резолюция: «Ст. 85 может быть и такая, но я не согласен».

И тут же подпись: два крючочка с хвостиком.

Потомству в память и для истории – подписи господ министров особым лаком покрывали, чтобы в архивах не затерялись и не исчезли безследно...

А у Сорочкина руки ли после вчерашняго в дрожании, или вздор в голове, но обмакнул он кисточку не в баночку с лаком, а в чернильницу, – да как мазнет...

Черный негр на резолюцию господина министра наступил. Пропала память в потомстве.

Под Сорочкиным стул затрясся. Бумагу туда-сюда – шась, шась – спрятать, сжечь, в комок сжать, сказать, что

ему не давали. Не поверят, пропало.

Подчистить, черный след негра убавить? Пальцы растерялись, толкнутся и чернильницу – раз! – опрокинули.

И кинулась по казенной бумаге черная река, выпустила косой ус, завернулась кольцом.

Всплеснул коллежский регистратор руками. Взглянул быстро в присутствие, а там все пишут согнувшись. Пригладил тогда на лбу серп волос и улыбнулся. И в чернильницу перо обмакнул, под ступней негра написал сбоку, неспешно:

– «Согласны вы, не согласны, а все пропало. Темна судьба человек. Аминь».

А пониже расписался вверх и наискось:

Наполеон Бонапарт.

Подумал и приписал:

Бонапарт, Наполеон, Император.

По лбу дыханье прошло... Смотрит, а над ним экзекутор стоит. Не лицо, а серое пятно, пыльный ком. Как зарницы глаза размигались. Чихнул – фрр – забрызгал, да как крикнет:

– Сукин ты сын и как ты мог?

Сорочкин слегка бровью повел, уголком губ поджатых слегка ухмыльнулся и милостиво бумагу ему протянул.

– Вот возьмите. Резолюция моя там положена...

Экзекутора лик, пятно серое, вынырнуло, нырнуло.

В присутствии – голоса, стулья задвигали и слышно, как

столоначальник Изумрудов свистнул, крикнул, как утка:

– Белая горячка.

А Сорочкин сидел задумчиво за столом своим, уголком губ улыбался, полными пальцами по столу барабанил.

– Марш со мной! – нырнул экзекутор за шкаф. И встал Сорочкин, как бы устало. Стул осторожно придвинул. Поправил волосы, одернул жилет и, сунув руку под жилет, сказал грустно:

– Идемте.

Чиновники глядят, тянутся. Шеи длинные, как у верблюдов. У белых дверей кабинета метнулось испуганное лицо копииста Ванюшина. Сорочкин хотел что-то сказать, что-то вспомнить, да только вздохнул.

Кривая у Его Превосходительства голова. Лоб в угол, глаза на Сорочкина. А подбородок трясется.

– Это вы, что же? – и бумагу министра ему протянул. А на бумаге – черная река. Сорочкин слегка бровью повел, на бумагу глаз опустил.

– Ничего. Все хорошо.

– Хорошо, хорошо-ссс? – Его Превосходительство взвизгнул, поджался. А Сорочкин, от кривого лба глаз не отводя, книгу по столу пошарил. Нашел. Корешок сжал. А полное лицо от тихаго гнева порозовело.

И вдруг, как грохнет книгой об стол. Чернильницы подпрыгнули., Его Превосходительство присел, руки раскинул, голова вбок. А Сорочкин улыбнулся покойно и грустно:

– Вы должны молчать, когда с вами говорит император...

И письменный стол мягко кругом обошел. И двумя пальцами Его Превосходительство за ухо ущипнул... Ногтями, пребольно. И за ухо от стола, и за ухо к двери, а Его Превосходительство, как подшибленный птенец: голова вбок, руки трепыхаются...

В дверях Сорочкин в спину его легонько подтолкнул.

– Вон отсюда, скверный министр!

Белая дверь хлопнула.

А Сорочкин, один в кабинете, руки за спину заложив, к окну подошел. Дым морозный, снеговая ширь Невы, галки реют в розоватом, тусклом тумане неба.

Вздыхнул и досадливо бровью повел: топот за дверями.

Холодно светится у окна бледное его лицо. Темная запятая на лбу, губы поджаты...

Не слышными и мягкими шагами ступил к дверям, слегка толкнул медную ручку...

В присутствии от людей – дымная теснота. Его глаза зеленовато вспыхнули. Погасли... Мигание пуговиц на темных кафтанах курьеров, зыбь лиц, дрожащие рты, распяленные пальцы – все отступает, отступает от белой двери.

Сорочкин идет. Маленький, мягкий, плотная ляжки обтянуты брбчками. Рука за жилет всунута. Сам хмурый, задумчивый, никого не видит.

До стены дошел. Рукой махнул, хотел что-то сказать и Ваничкино лицо, тонкое, бледное, в дымной тесноте увидал.

Лоб потер, нахмурился, волосы взъерошил:

– Сын... Министры, а где мой сын, отрок, император римский?

Зеленая молния закрыла глаза. Ногой топнул. Шагнул:

– Маршал Даву! Изменник! Где Мария-Луиза – императрица... Маршалы – вы продали ваши шпаги!

И резко толкнулся рукой в тесноту. Столоначальника Смышленного за пиджак поймал, закрутил.

– Маршал Даву! Изменник. Продажная шпага, за что вы продали нас...

Смышленов ахнул, рванулся и – кто бы мог ждать? – такой тяжелый мужчина, а как перышко, под конторку нырнул, на корточки сел, сопит, в темноте белками вправо и влево вращает.

– Пронеси Господь, маршал Даву, каково!.. Пронеси...

Его Превосходительство из за спины как крикнет пронзительно

– Сторожа! Взять его!

И надвинулись на Сорочкина медные пуговицы, темные кафтаны, а впереди Павлюк, стройный старец, седой. Сорочкин шаг отступил. Скрестил на груди руки. Темная борозда лоб разсекла.

– Берите!

И дрогнуло вдруг бледное лицо, губы сдвинулись.

– Солдаты! Меня? Старая гвардия и на меня подымутся ваши руки, на императора? Нет! – Сухое рыдание блеснуло

в глазах. Пал на грудь Павлюку. Пылающие слезы брызнули на бакенбарды курьера.

– И ты, старый мой гренадер, красавец атак!

– Ты меня, императора...

Курьер Павлюк руки разставил, в бакенбардах лицо Сорочкина шуршит, у курьера руки дрожали.

– Вашество, да разве мы – вашество, да мы...

– Ты, твоего императора!

– Не мы – никогда... Не надрывайтесь, ваше величество.

– А! Никогда! Так за мною, солдаты!

Круто повернул, топнул ногой.

– За мной старые гренадеры!

И кинулся вон. Лик белым пламенем озарен. Зеленые грозы в глазах.

Толпа повалила за ними, опрокидывая стулья, столы. Нажала стекло. Лопнуло. Смышленов под конторку затиснулся – он только пыхтит, ноги подбирает, а по ногам подошвы, каблуки...

Маленький человек, рука сунута за жилет, летит вниз по лестнице.

Повороты, двери, лица, раскрытые двери. Ниже – не блеснуло. Мария-Луиза!

Стал. Толпа откачнулась, стали.

– Мария, клянусь, я принесу Вам победы. За мной солдаты, в огонь!

На площадке взвизгнуло. Двери хлопают. Ходят ходуном.

Кого-то притиснуло.

Лестницы, повороты, площадки.

Лик белый – пламень. Прыскают зеленые грозы.

Маленький император ведет в огонь полки. Знамена шумят... Мост, мост... Дрогнули, отступают. Шелестят сладким свистом ядра. Колыхаясь вспять бегут знамена республики... Знаменщики – ни шагу назад! За мной вперед!..

Кавалерия скачет. Конские черные хвосты, конфедератки. А его польские легионы. Все поляки – паны Сигизмунды, Казимиры.

– Да здравствуют храбрые поляки!

Костлявые хладные руки – пусти стремя старик, как твое имя?

– Швейцар, Казимир...

– А, Казимир – вперед, легионы, вперед!..

И как таки случилось, но Ванюшин – копиист успел в темный подъезд вперед забежать и у самых дверей, когда Сорочкин – «вперед, легионы» – крикнул, ножку ему подставить.

И так ловко, что коллежский регистратор, головой в дверь и прямо на улицу, в сугроб влетел. Пал. А дворник министерский на него, в снегу верхом сел, громада лохматая, в шубе волчьей. Дворнику министерскому – все благородия, начиная с курьеров. Для него и коллежский регистратор – важная шишка.

Вот он оттянул с брюк кушак и зубы оскалил.

– Вязать его благородие, али так?

А с подъезда все, кто толпился, руками замахал, закричали:

– Вяжи, вяжи.

И на набережной Английской, в Санкт-Петербурге, у министерства, забился, затрепетал в сугробе, лицом в снегу, связанный император.